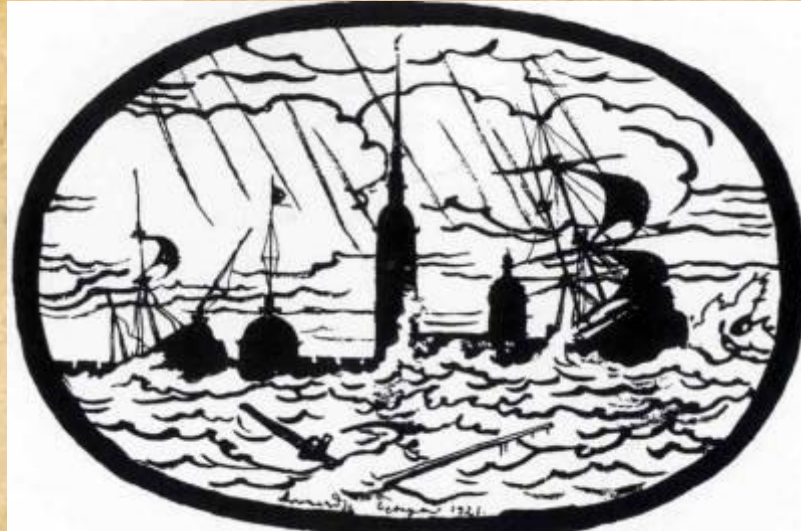


Александр Сергеевич Пушкин

МЕДНЫЙ ВСАДНИК ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным *В. Н. Берхом*.

ВСТУПЛЕНИЕ

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,¹
Ногою твердой стать при море.

Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.



Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхой невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампы,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса².
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
На сквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царской дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой

Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почившей родне,
Ни о забытой старине.

Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.
Но долго он заснуть не мог
В волненье разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливы,
Ума недалекого, ленивы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Всё прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался, как поэт:
«Жениться? Мне? зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно;
Но что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год-другой —
Местечко получу, Параше
Препоручу семейство наше
И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...»
Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,

Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Сонны очи
Он наконец закрыл. И вот
Редет мгла ненастной ночи
И бледный день уж настает...³
Ужасный день!



Нева всю ночь
Рвалась к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Поутру над ее берегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало, всё вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,

К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь как тритон,
По пояс в воду погружен.

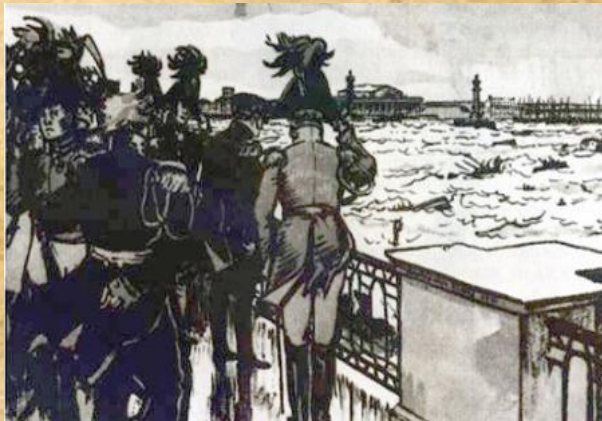


Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?

В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел

И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы⁴
Спасать и страхом обуялый



И дома тонущий народ.

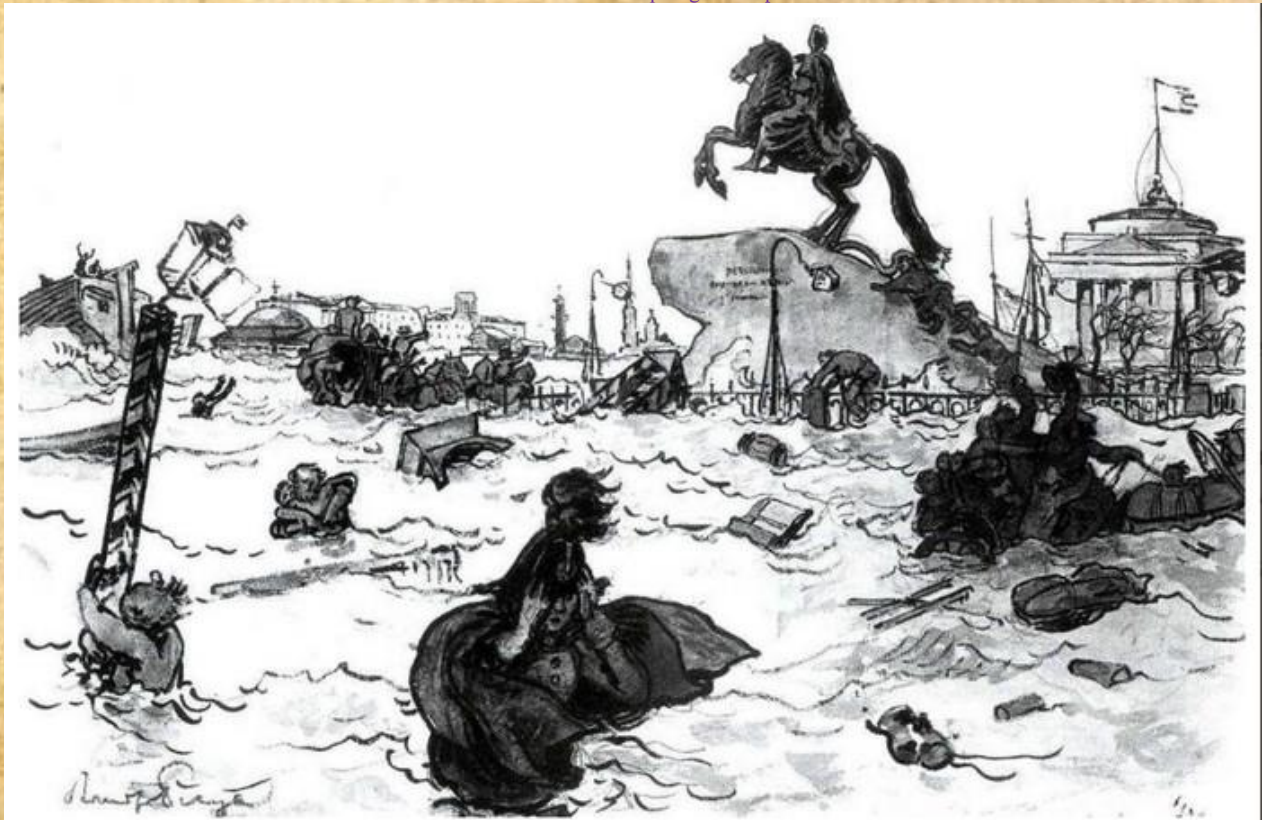
Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слышал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.

Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,

Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?



И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Но вот, насытись разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И, грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.

Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске
К едва смирившейся реке.
Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,

Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку;
Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Через волны страшные везет.



И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться вглубь меж их рядами
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был челн — и наконец
Достиг он берега.

Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
Всё перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,

Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?..

Он остановился.
Пошел назад и воротился.
Глядит... идет... еще глядит.
Вот место, где их дом стоит;
Вот ива. Были здесь ворота —
Снесло их, видно. Где же дом?



И, полон сумрачной заботы,
Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.

Ночная мгла
На город трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И меж собою толковали
О дне минувшем.

Утра луч

Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихой столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багряницей
Уже прикрыто было зло.
В порядок прежний всё вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки.

Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Но бедный, бедный мой Евгений ...
Увы! его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.
Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему.
Нередко кучерские плети
Его стегали, потому

Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни сё, ни житель света,
Ни призрак мертвый...



Раз он спал
У невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.
Бедняк проснулся. Мрачно было:
Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали, во тьме ночной
Перекликался часовой...
Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить, и вдруг
Остановился — и вокруг
Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце

С поднятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.



Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вокруг него,
И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?⁵



Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...





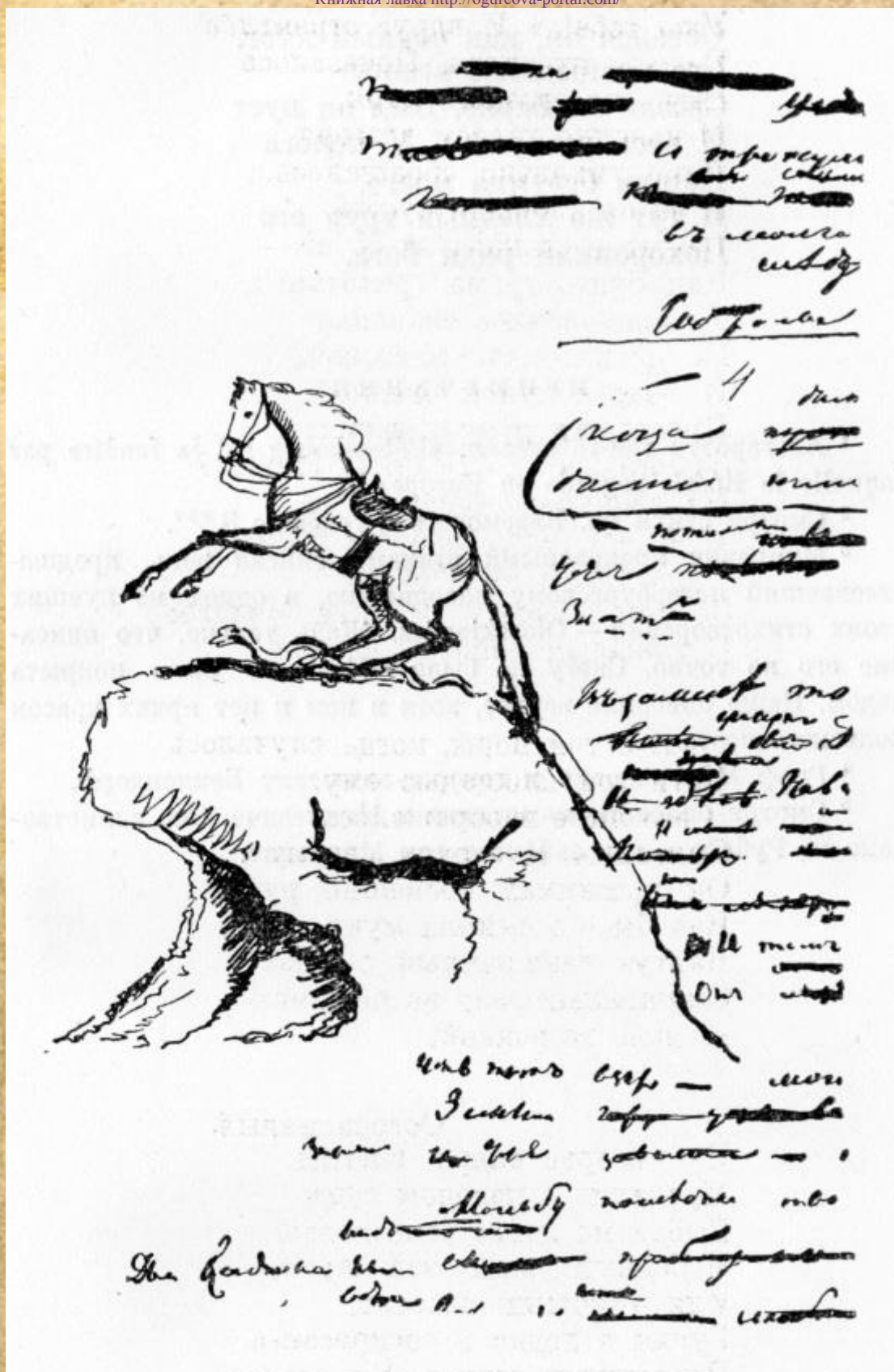
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.
И с той поры, когда случилось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,

Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.

Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводнение
Туда, играя, занесло
Домишко ветхой. Над водою
Остался он как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.



*Иллюстрации Александра Николаевича Бенуа
К изданию поэмы "Медный всадник". СПб., 1921*



У. Стайрон «Выбор Софи»»: Издательство «Радуга»; Санкт-Петербург; 1993

ISBN 5-87188-017-7

Оригинал: William Styron, "Sophie's Choice"

Перевод: Т. А. Кудрявцева

Аннотация

С творчеством выдающегося американского писателя Уильяма Стайрона наши читатели познакомились несколько лет назад, да и то опосредованно – на XIV Московском международном кинофестивале был показан фильм режиссера Алана Пакулы «Выбор Софи». До этого, правда, журнал «Иностранная литература» опубликовал главу из романа Стайрона, а уже после выхода на экраны фильма был издан и сам роман, мизерным тиражом и не в полном объеме. Слишком откровенные сексуальные сцены были изъяты, и, хотя сам автор и согласился на сокращения, это существенно обеднило роман. Читатели сегодня имеют возможность познакомиться с полным авторским текстом, без ханжеских изъятий, продиктованных, впрочем, не зловерностью издателей, а, скорее, инерцией редакторского мышления.

Уильям Стайрон обратился к теме Освенцима, в страшных печах которого остался прах сотен тысяч людей. Софи Завистовская из Освенцима вышла, выжила, но какой ценой? Своими руками она отдала на заклятие дочь, когда гестаповцы приказали ей сделать страшный выбор между своими детьми. Софи выжила, но страшная память о прошлом осталась с ней. Как жить после всего случившегося? Возможно ли быть счастливой? Для таких, как Софи, война не закончилась с приходом победы. Для Софи пережитый ужас и трагическая вина могут уйти в забвение только со смертью. И она добровольно уходит из жизни...

Уильям Стайрон

Выбор Софи

Памяти моего отца (1889–1978)

Кому дано запечатлеть ребенка
Среди созвездий, вверив расстоянье
Его руке? Кто слепит смерть из хлеба, –
Во рту ребенка кто оставит
Семечком в яблоке?... Не так уж трудно
Понять убийц, то это: смерть в себе,
Кто смерть в себе носить еще до жизни,
Носить, не зная злобы, – это вот
Неописуемо.

Райнер Мария Рильке. Из Четвертой Дуинской элегии

...я отыскиваю ту важнейшую область
Души, где чувству братства противостоит
Абсолютное Зло.

Андре Мальро. Лазарь, 1974

Первое

В те дни на Манхеттене было почти невозможно найти дешевую квартиру, так что мне пришлось перебираться в Бруклин. Шел 1947 год, и одной из приятных особенностей того лета, которое я так живо помню, была погода, солнечная и мягкая, в воздухе пахло цветами, словно бег дней остановился на вечной весне. Я был благодарен судьбе уже и за это, поскольку молодость моя, как я считал, влачила наихудшее существование. Мне было двадцать два года, и, стремясь выбиться в писатели, я обнаружил, что творческий жар, который в восемнадцать лет поистине сжигал меня чудесным неугасимым пламенем, превратился в тусклый контрольный огонек, чисто символически светившийся в моей груди или там, где некогда гнездились мои самые неутолимые чаяния. И не то чтобы мне больше не хотелось писать – я попрежнему страстно жаждал создать роман, который так долго томился в каземате моего мозга. Одно плохо: едва написав несколько отличных абзацев, я уже ничего больше не мог из себя выжать, или же – следуя образному выражению Гертруды Стайн по адресу одного незадачливого писателя «потерянного поколения» – соки-то во мне были, да

только не хотели выливаться. В довершение беды я сидел без работы, почти без денег и, подобно другим моим землякам, сам изгнал себя на Флэтбуш-авеню, пополнив число голодных и одиноких молодых южан, блуждавших в этом еврейском царстве.

Зовите меня Стинго, или Язвина, – в ту пору ко мне обращались именно так. Прозвище это пошло из приготовительной школы, которую я посещал в моем родном штате Виргиния. Эта школа была приятным заведением, куда меня, четырнадцатилетнего мальчишку, зачислил после смерти матери мой сраженный горем отец, обнаружив, что ему со мною не справиться. А я отличался несобранностью и, кроме того, судя по всему, не проявлял внимания к личной гигиене, отчего меня вскоре и прозвали Стинки, иными словами – Вонючкой. Но шли годы. Время делало свое дело, да и привычки мои радикально изменились (собственно, меня до того застыдили, что я стал архичистюлей), так что начала исчезать необходимость в таком режущем слух прозвище и оно превратилось в более приятное или хотя бы менее неприятное – Стинго, или Язвина. После тридцати я каким-то таинственным образом расстался с Язвиной – прозвище это исчезло из моей жизни, словно растворилось в тумане, и я не жалел об утрате. Но в ту пору, о которой я пишу, я все еще был Язвиной. Если читатель, однако, удивится, не найдя этого имени в начале повествования, пусть он учтет, что я описываю тот грустный, одинокий период моей жизни, когда я, подобно свихнувшемуся отшельнику в горной пещере, отгородился от всего мира и ко мне вообще редко кто обращался.

Я был рад, что лишился работы – первой и единственной в моей жизни работы за жалованье, если не считать службы в армии, – хотя ее потеря основательно подорвала мою и без того скромную платежеспособность. К тому же, я думаю, мне полезно было так рано понять, что я никогда и нигде не смогу удовлетворить требованиям, предъявляемым к чиновнику. Учитывая то, как я жаждал получить это место, я, надо сказать, сам удивился чувству облегчения – и даже радости, – с каким воспринял свое увольнение всего пять месяцев спустя. В 1947 году работу найти было трудно, особенно в издательстве, а мне посчастливилось получить место в одном из крупнейших издательств в качестве «младшего редактора» – эвфемизм, обозначающий человека, читающего рукописи. В ту пору, когда доллар имел большую ценность, чем теперь, условия найма определял хозяин, что и явствует из моего жалованья – сорок долларов в неделю. После вычета налогов вознаграждение за мои труды составляло на худосочно-голубом чеке, который каждую пятницу приносила мне маленькая горбунья-расчетчица, немногим более девяноста центов в час. Меня ничуть не возмущало, что один из самых влиятельных и богатых издателей мира платил своим сотрудникам столь мизерное жалованье: молодой и полный жизненных сил, я смотрел на свою работу – по крайней мере в самом начале – как на нечто возвышенное, а кроме того, в качестве компенсации ждал от нее немало пленительных минут: обеды в ресторане «21», ужины с Джоном О'Харой, встречи с самоуверенными и блестящими, но плотоядными писательницами, которые будут таять от моей редакторской проницательности, и так далее.

Однако вскоре выяснилось, что ничего этого нет и в помине. Во-первых, хотя издательство – процветавшее главным образом за счет выпуска учебников, промышленных справочников и десятка технических журналов, охватывавших столь разнообразные и таинственные области знания, как свиноводство, или похоронное дело, или штампованные пластмассы, – наряду с этим печатало и романы, и публицистику, для чего и требовались молодые стилисты вроде меня, список его авторов едва ли мог привлечь внимание человека, серьезно интересующегося литературой. Так, например, к моменту моего поступления наиболее известными писателями, которых рекламировало издательство, были: отставной адмирал, ветеран Второй мировой войны, и бывший коммунист-осведомитель с чрезвычайно раздутой репутацией, создавший с чьей-то помощью свою *mea culpa* – сочинение, прочно занимавшее место в середине списка бестселлеров. Писателей, чье имя могло бы стоять в одном ряду с Джоном О'Харой, там не было и в помине (поклонялся-то я более прославленным литераторам, но О'Хара, как мне казалось, был писателем того типа, с которым молодой редактор мог пойти в ресторан или выпить). А кроме того, уж больно угнетала меня нудота, которой я занимался. В ту пору «Макгроу-Хилл энд компани» (а я работал именно там) не блистало литературными

шедеврами – оно так долго и так успешно занималось выпуском технических трудов, что небольшой отдел художественной литературы, где я трудился и где мы стремились дотянуться до уровня издательств «Скрибнер» или «Кнопф», считался эдаким пустяковым придатком. Совсем как если бы крупные универмаги, вроде «Монтгомери уорд» или «Мастерс», обнаглев, вздумали открыть у себя салон по продаже изделий из норки и шиншиллы, хотя все знали бы, что это крашеный японский бобер.

Итак, будучи работягой, находившимся на самой низшей ступени служебной лестницы, я не только не допускался к чтению более или менее добротных рукописей, но вынужден был ежедневно продираться сквозь дебри беллетристики и публицистики наискромнейшего качества, листая кипы залитой кофе, замусоленной дешевой бумаги, чей засаленный, потрепанный вид громогласно возвещал о глубине отчаяния автора (или литературного агента) и о том, что издательство «Макгроу-Хилл» – его последняя надежда. Но в моем возрасте, да еще когда моя тупая башка была забита английской литературой, я был столь же непреклонно требователен, как Мэтью Арнолд, считая, что письменное слово должно нести лишь предельно серьезные истины, и относился к этим жалким детищам тысяч неизвестных мне людей, в одиночестве вынашивавших свою хрупкую мечту, с высокомерной абстрактной ненавистью, какую питает обезьяна к блохам, вылавливаемым в своей шерсти. Я был непреклонен, категоричен, беспощаден, нетерпим. Сидя в своей стеклянной клетушке на двадцатом этаже здания «Макгроу Хилл» – архитектурно внушительной, но производящей удручающее впечатление зеленой башне на Сорок седьмой улице Западной стороны Нью-Йорка, – я направлял все свое презрение, какое может возникнуть лишь у человека, только что закончившего чтение «Семи типов двусмысленности», на кипы рукописей, уныло громоздившиеся на моем столе и такие невероятно тяжелые от вложенных в них надежд и хромающего синтаксиса. Я должен был дать достаточно подробное описание каждого произведения, независимо от его качества. Сначала я получал от этого истинное удовольствие и от души наслаждался, лихо разнося в пух и прах и умерщвляя рукописи одну за другой. Но через какое-то время их неизменная посредственность стала приедаться, мне надоело однообразие моей работы, надоело курить сигарету за сигаретой, смотреть на подернутый смогом Манхэттен и выдавать бессердечные отзывы вроде вот этого, который я сохранил в память о том иссушающем душу, удручающем времени. *Автограф Александра Сергеевича Пушкина в черновиках поэмы*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Альгаротти где-то сказал: «Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe» .

² Смотри стихи кн. Вяземского к графине З***.

³ Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта.

⁴ Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф.

⁵ Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как замечает сам Мицкевич.

